

Целью в искусстве, как и во всей жизни,  
являются свобода и прогресс.

*Л. Бетховен*

## ГЛАВА I

Иван Федорович Мамонтов, отец Саввы Ивановича, скончался в подмосковном своем имении, сельце Кирееве, 19 августа 1869 года в пять с половиною часов пополудни.

Хоронили Ивана Федоровича в Алексеевском монастыре, и Савва Иванович со всеми, кто ездил в монастырь, вернулся в Киреево лишь на следующий день к вечеру.

Каждому из женатых сыновей Иван Федорович отстроил в Кирееве дом, чтобы лето вся семья проводила вместе, подле него. Дом для Саввы с Лизой Иван Федорович построил три года назад, в 1866 году. Савва и Лиза поженились в 1865 году и венчались здесь же, в Кирееве, а потом прожили пол-лета в доме отца и уехали в свадебное путешествие, в Италию. И сейчас почему-то Савве казалось, а может быть, и вправду это было так, что все, какие ни вспомни, события его жизни были связаны с отцом. Как ни стремился Савва к самостоятельности, но, как выяснилось потом, постоянно получалось, что направлял все Иван Федорович. И теперь словно бы окончился большой период в жизни, период ученичества, что

ли, и подведена под этим периодом черта. Теперь он, Савва, уже не Савва, а Савва Иванович, а Лиза — Елизавета Григорьевна. Отец приучил его чувствовать ответственность за свои действия, и теперь, когда отца не стало, он понял это впервые так остро. У него семья: жена, два сына, оставшиеся после отца дела. Через месяц с небольшим ему исполнится двадцать восемь лет. Он вспоминал, что рассказывал ему о себе отец, а оказалось, что запомнил он удивительно мало.

Ему была обидна мысль, что и его когда-нибудь похоронят и вся его жизнь, все переживания, размышления, все, что волновало его, сгинет, словно бы ничего этого и не было, словно и не жил на земле такой Савва Иванович Мамонтов.

У него возникло желание записать хотя бы самые значительные события своей жизни. Когда осенью вернулись в Москву, он стал перечитывать письма отца, свой дневник, который вел, когда был гимназистом шестого класса, одиннадцать-двенадцать лет назад. Перечитывал все с каким-то новым чувством и вспоминал.

Он родился в 1841 году 3 октября в городе Ялуторовске, за Уралом, где отец его, Иван Федорович, «работал по откупной части»<sup>1</sup>. Город Ялуторовск был основан лет за двести до того на месте другого городка, татарского Явлу-Тур, разрушенного Ермаком Тимофеевичем, который в царствование Ивана Грозного открыл Сибирь. Сколько было жителей в городе, никто не знал; первую перепись произвели в Ялуторовске лишь в 1890-е годы, и тогда оказалось, что людей в нем было три с половиной тысячи.

Был Ялуторовск темен, невежествен, но что было в Ялуторовске хорошо, так это то, что деревни, окру-

жавшие его, как и все, впрочем, сибирские деревни, не знали крепостного права, и потому, при всей дремучей темноте местных и окрестных жителей, не было в них того рабьего духа, какой преследовал человека в исконных российских губерниях. И была еще в Ялуторовске особенность, выделявшая его из других рядом лежащих городов. Он стоял на великом Сибирском тракте, так что, едучи или идучи из России в Сибирь или из Сибири в Россию, никак нельзя было миновать Ялуторовск, и потому много людей прошло и проехало мимо его бревенчатых домов, и среди них немало замечательных.

В 20-е годы везли мимо Ялуторовска вглубь Сибири осужденных на каторгу декабристов. Порядок следования групп, состав их, скорость передвижения определялись лично государем, входившим во все мелочи, во все тонкости этой исторической акции. Потом мимо Ялуторовска проезжали жены декабристов: Трубецкая, Волконская, Анненкова, Ентальцева, Ивашева...

Александрина Муравьева везла мимо Ялуторовска послание Пушкина декабристам и особо — Пущину.

По прошествии нескольких лет, когда сроки пребывания на каторге стали истекать и декабристы начали отбывание ссылочных сроков, большей частью пожизненных, началось движение в обратном направлении, и самыми западными из сибирских городов, куда их поселяли, были: Ялуторовск, Курган, Тюмень, Тобольск. Эта группа городов стала для них как бы тупиком, некоей невидимой стеной.

В 40-е годы, о которых речь, в Ялуторовске находилась уже довольно большая колония декабристов.

Были они людьми очень друг на друга непохожими, и каждый по-своему был интересен. Первым из декабристов, еще в 1828 году, попал в Ялуторовск старый чудак, остзейский барон Тизенгаузен. Жил в Ялуторовске и Матвей Иванович Муравьев-Апостол, старший из трех братьев-декабристов, оставшийся в живых благодаря заступничеству сестры его, известной в те годы петербургской красавицы Екатерины Ивановны Бибиковой; жил там и Якушкин, тот самый Якушкин, о котором упоминается в десятой главе «Онегина»: «Меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал...»

Жили еще в Ялуторовске Евгений Оболенский и Иван Пущин, лицейский друг Пушкина. Жили они вместе в доме Бронникова, о котором Пущин писал впоследствии, что дом этот «известен всей Европе». Действительно, многие, очень многие по пути в Сибирь и из Сибири останавливались у гостеприимного Ивана Ивановича. В этом доме сын Якушкина уговорил Пущина написать воспоминания о Пушкине, ныне так широко известные...

Последним поселился в Ялуторовске Басаргин, женившийся вскоре на вдове, Ольге Ивановне Медведевой, приходившейся родной сестрой знаменитому химику Дмитрию Ивановичу Менделееву. «Я уверен, — писал впоследствии Басаргин, — что добрая молва о нас сохранится надолго в Сибири, что многие скажут сердечное спасибо за ту пользу, которую пребывание наше им доставило».

Итак, Савва Мамонтов родился и первые годы жизни провел в городе, где жили декабристы. В своих заметках о детстве он пишет, что отец его «был

близок и как будто родственно связан с некоторыми из декабристов. К сожалению, связь эта была покрыта строгой тайной»<sup>2</sup>. С кем из декабристов был Иван Федорович связан родственно, теперь установить вряд ли удастся, но в доме Мамонтовых бывала вдова скончавшегося в Ялуторовске Енгальцева, бывали Муравьев-Апостол, Пущин, по-видимому, также Якушкин и Оболенский.

Имя Мамонтова называют среди имен тех сибирских купцов, кто помогал «политическим преступникам» наладить бесцензурную переписку с родными и друзьями в России.

Имел ли это, однако, значение на «становление характера» Мамонтова? Думаю, что да. Наивно было бы, конечно, толковать это в том смысле, что посещавшие дом Мамонтовых декабристы непосредственно оказывали какое-то влияние на воспитание мальчика Саввы. Но ребенок невольно впитывал духовную атмосферу, которая окружала его в детстве, она определила очень многое в дальнейшем его развитии. А то, что общение с декабристами сказалось на формировании мировоззрения его отца — Ивана Федоровича, подтверждает вся его дальнейшая жизнь. Разумеется, не следует понимать и это слишком прямолинейно. Иван Федорович не организовывал тайных обществ — он делал карьеру, богател, обзаводился имуществом. Но при всем том был он человеком гуманным и народу сочувствовавшим.

Главным в характере Ивана Федоровича было, пожалуй, понимание духа прогресса — того, что является в данное время лейтмотивом жизни страны и общества, что отмирает, а что рождается, что уходит в прошлое, а чему принадлежит будущее.

И если у Ивана Федоровича это понимание ограничивалось делами предпринимательства, то у сына его Саввы оно распространялось также на сферу искусства, в котором предстояло ему сыграть значительную роль.

Об этом, собственно, все дальнейшее повествование.

Что же касается декабристов, то преклонение перед ними на всю жизнь сохранилось в душе Саввы Ивановича, чему свидетельством строки из воспоминаний его сына: «У нас в семье был особый культ декабристов, а на стене кабинета отца всегда висели портреты некоторых из них»<sup>3</sup>.

Делавшему карьеру Ивану Федоровичу Ялутиновск был тесен, он чувствовал себя способным для деятельности более значительной, чем та, что могла быть им осуществлена в этом крохотном городишке. Он переезжает сначала в Чистополь, потом в Орел, потом в Псков, нигде подолгу не задерживаясь, и в 1849 или 1850 году приезжает в Москву, где и обосновывается уже навсегда. У Ивана Федоровича и жены его Марии Тихоновны было к тому времени семеро детей: старшая дочь Александра, четверо сыновей — Федор, Анатолий, Савва, Николай — и еще две дочери — Оля и Маша.

Переехав в Москву, Иван Федорович купил дом на 1-й Мещанской — чудесный барский дом, украшенный по фасаду величественным подъездом, просторный, со множеством прихожих, с двумя кабинетами, с огромным залом, дверь из которого выходила на каменную террасу, а терраса — в старый сад. Дом когда-то принадлежал графам Толстым. Иван

Федорович обставил его не без роскоши, но со вкусом и принял за дела. Воспитать сыновей он решил на столичный манер. Тотчас взамен нянюшек и прочей женской прислуги был выписан из Ревеля, по рекомендации каких-то петербургских друзей, Федор Борисович Шпехт, окончивший университет в Дерпте, молодой еще, бодрый, подтянутый и педантичный. Шпехт установил строгую дисциплину, строгое расписание занятий, и нарушение их не допускалось ни в коем случае. Серьезнейшим образом изучались языки: день — французский, день — немецкий, и дело пошло столь успешно, что немецкий язык едва не вытеснил русский: братья, когда нужно было поговорить о серьезном или интимном деле, обращались друг к другу по-немецки, и так продолжалось не только в годы учения у Шпехта, но и много лет спустя. Таким оборотом дела Иван Федорович был недоволен, но считал его, по-видимому, неизбежным злом, к счастью временным.

Иван Федорович был уже очень известен в Москве, жил открыто и широко, принимал многих влиятельных людей, вплоть до графа Арсения Андреевича Закревского, генерал-губернатора Москвы, неограниченного вершителя судеб города и губернии, почти восточного владыку, — невежественного, своенравного и деспотичного, прозванного москвичами «Арсеник-пашой». Часто приезжал из Петербурга и гостили у Мамонтовых Василий Александрович Коровев, крупный делец по откупам, «откупной царь», как назвал его Савва Мамонтов в гимназическом дневнике.

И вот в это переливающее через край кипение жизни, в это преуспеяние купеческого дома Мамон-

товых неожиданно ворвалось горе, надолго выбившее семью из колеи: умерла Мария Тихоновна Мамонтова, жена Ивана Федоровича, мать восьмерых его детей.

Иван Федорович совершенно убит был горем. Он целиком отдался распорядительности Кокорева. По его совету он продал толстовский дом, где все напоминало ему о покойной, и купил другой — на Новой Басманной, тоже просторный, но в ином роде: добротный, солидный, удобный.

Но и в этом доме несчастья не оставили семью. Через несколько месяцев умерла любимица Ивана Федоровича, десятилетняя Маша, девочка умненькая, бойкая, единственная, умевшая выводить отца из состояния подавленности, а вскоре после нее умерла Соня, родившаяся за несколько дней до смерти Марии Тихоновны. Осталась дочь Оля. Иван Федорович пригласил для ее воспитания из Петербурга гувернантку, мадам Корнон, а сам он, чтобы как-то подавить горе, с головой ушел в дела.

Как же сложилась жизнь Саввы после смерти матери?

Иван Федорович решил, что настала пора прекратить домашнее воспитание сыновей, и отдал их в гимназию: Савву во второй класс, Анатolia — в третий. Но пребывание в гимназии длилось недолго. Когда окончился учебный год, отец отвез Савву и двух его двоюродных братьев, Валерьяна и Виктора, в Петербург и определил в Горный корпус. В корпусе Савва проучился год и вернулся опять в гимназию, в тот же класс, из которого за год до того его забрал отец.

Все еще находясь на попечении Шпехта, он был особенно на хорошем счету у преподавателей иностранных языков. Зато гимназические администраторы — надзиратели и классные наставники — недолюбливали его за своенравие и непочтительное отношение к официальным правилам гимназического бытия.

Учился Савва год от года все хуже, стал чуть ли не последним учеником. По существовавшим тогда правилам он должен был сидеть на последней скамье, но по настоянию одноклассников, любивших его за независимость, сидел всегда на первой, рядом с первым учеником. Такая популярность у товарищей вызывала все большую нелюбовь администрации. Директор открыто ненавидел его. Только о двух преподавателях вспоминал Савва Иванович впоследствии с благодарностью: о физике Вилькранце и словеснике Носкове, близком знакомом Гоголя. Носкову Савва считал себя обязанным знанием русской литературы, любовью к чтению.

Семья Мамонтовых тем временем опять переменила место жительства. Иван Федорович купил дом на Садовой, у Воронцова Поля, меньше прежнего, но уютный. Тогда же, по совету Кокорева, имевшего на Ивана Федоровича значительное влияние, было куплено имение — сельцо Киреево — неподалеку от Москвы, около Химок, где с тех пор вся семья проводила летние месяцы.

Иван Федорович уже давно занимался чем-то никому не понятным: еще в те годы, когда жили на 1-й Мещанской, бывшей как бы проходным двором Москвы, он, если бывал свободен, стоял у окна и считал, сколько телег проезжает к Троице, сколь-

ко возвращается обратно, сколько идет паломников, сколько груза везут. Потом, когда переехали с 1-й Мещанской, он, бывало, езживаля за город сам или с кем-нибудь из сыновей — чаще всего с Саввой — и там, за городом, все считал паломников, едущих и идущих к Троице и от Троицы. Он никому до времени не говорил об этом, но мысль была такая: построить железную дорогу, пока только до Троицкой лавры — 60 верст, а там... Впрочем, для этого нужны были деньги, какими он в ту пору еще не обладал. Но когда вместе с Кокоревым он взял винный откуп, дела пошли хорошо. Однако надо было торопиться, чтобы не обскакали другие. Он всем существом чувствовал, что приближается время, когда главным действующим лицом в стране станет предпримчивый делец. Хотя внешне на первый взгляд все было по-старому: дворянство занимало прежнее место в жизни, крепостное право казалось незыблемым, государственный аппарат — крепким и устрашающим, но что-то было уже не то... И хотя дотошный государь-тюремщик сочинял новые условия пребывания государственных преступников на поселении: на сколько верст кому отъезжать от места постоянного жительства, какими чернилами писать письма, а на просьбы амнистировать декабристов отвечал, выкатив оловянные глаза: «Еще не пришло время...» И хотя была задушена революция в Венгрии и в знак победы царь приказал выбить медаль: молодой и прекрасный латник поражает гидру (молодой и прекрасный латник был российский царь Николай I, многоглавая гидра — Лайош Кошут, Шандор Петефи) — а все равно — не та была сила, не та мощь...

Русское общество, оцепеневшее, впавшее в летаргию после разгрома на Сенатской площади, приходило в себя и начало подавать признаки жизни. И вот в это время Николай I совершаet величайшую в своей жизни ошибку: он начинает войну с Турцией. В ответ на это Англия и Франция объявляют войну России. И тут стала очевидна слабость империи; все расплзлось, все оказалось гнилью. Русская армия была обессилена муштрай и шагистикой, военным наукам предпочитались дисциплина и покорность. Вооружение безнадежно устарело.

В этот критический для страны момент Николай I умер. Умер неожиданно и загадочно. Русское общество по-разному восприняло весть о смерти человека, который без малого тридцать лет держал в кулаке судьбы страны. Наиболее прогрессивная часть его встретила это событие как великую радость.

А. И. Герцен пишет, что «встретил великую новость... со слезами искренней радости на глазах... Несколько лет свалилось с плеч долой, я это чувствовал... Я не видел ни одного человека, который бы не легче дышал, узнавши, что это бельмо снято с глаз человечества, и не радовался бы, что этот тяжелый тиран в ботфортах наконец зачислен по химии».

Начало нового царствования не предвещало, однако, ничего хорошего. В приказе по войскам Александр II передавал сказанные его отцом на смертном одре слова благодарности «верной гвардии, спасшей Россию в 1825 году», а самого покойного называл в этом приказе и в других документах не иначе как «незабвенный». Слово это всех потешало и вносило струю веселости, хотя и не без горечи, в совсем невеселые прогнозы.

Но жизнь шла вперед. Война требовала решений незамедлительных, изменений — кардинальных.

Новый царь все же понял, в какой тупик завел страну его воистину «незабвенный» родитель. Первым актом, имевшим скорее символическое значение, была отставка Клейнмихеля, выученика Аракчеева, последнего временщика Николая I. И хотя и острили, будто новый царь решил от скуки: «Дай потешу народ, сменю Клейнмихеля», но все же чувствовали: повеяло свежестью, поняли: отставка Клейнмихеля есть признание негодности старого курса, первый шаг в сторону от него.

Война, однако, была проиграна — поражение России было тщательно подготовлено всей политической Николая I, проводившейся им в течение тридцати лет. Но поражение это заставило нового царя взять велению времени.

26 августа 1856 года в Москве во время коронационных торжеств Александр II подписал указ об амнистии декабристам. В тот же день указ был вручен сыну Сергея Волконского, находившемуся как раз в Москве, и он, не тряся лишнего часа, поскакал на восток. Через семь дней он был уже в Ялуторовске, в доме Бронникова, обнял Пущина, со слезами на глазах объявил ему счастливую весть и понесся дальше, в Читу, в Нерчинск, туда, где с нетерпением ждали решения своей судьбы отец и его друзья. К 1856 году осталось в живых тридцать четыре человека «государственных преступников».

А в Москве дворяне и именитые купцы в ознаменование манифеста об амнистии устраивали торжественные обеды, на которых провозглашали политические тосты. То, о чем еще так недавно говорили

лишь шепотом и в кругу самых близких, провозглашалось открыто и безбоязненно.

Осенью в Москву начали приезжать декабристы. «Тroe из них остановились у отца»<sup>4</sup>, — пишет Савва Мамонтов.

Кто были эти трое, сказать трудно. Кроме Тизенгаузена и Пущина, в Москве побывали все жившие прежде в Ялуторовске. Пущин переписывался со всеми, и по письмам к нему можно понять, что в доме Мамонтовых были Ентальцева, Муравьев-Апостол...

Жизнь менялась на глазах. На пороге была «Великая реформа», на пороге были 60-е годы, небывалый еще в России подъем общественных сил и великая растерянность тех, кто, засевши в дворянских гнездах, почитал жизнь окаменевшей.

А пока что в Петербурге и в Москве, в высоких правительственныех кругах, в кулуарах государственных учреждений, в аудиториях университетов, в дворянских гостиных, в залах купеческих особняков, в чиновничьих квартирах, в клетушках студентов — всюду разговоры и разговоры. Готовятся большие перемены в жизни страны, готовятся реформы, которые должны обновить российскую жизнь. И люди передают слухи, высказывают предположения, желания.

2 января 1858 года гимназист шестого класса Савва Мамонтов записывал в своем дневнике: «Читал речи на обеде по случаю освобождения крестьян... Павлова, Бабста, Кавелина, Станкевича, Кокорева»<sup>5</sup>.

А еще через несколько дней, 15 января: «Завтра обед у Кокорева, всех приглашают, даже дам, а меня нет, однако я выпросил у папеньки, чтобы и меня он

взял с собой»<sup>6</sup>. На следующий день, 16 января: «Я не ездил к Кокореву, потому что думал, что это ему не понравится, что скажет, мальчишка и тот пришел, говорят, он говорил сегодня хорошо»<sup>7</sup>.

Как видно, Савву Мамонтова очень интересуют все эти разговоры; в гимназии он получает совершенно определенную репутацию человека осведомленного. Одна из его дневниковых записей говорит о том, что даже законоучитель, отец Богданов («батька Богданов», как величает его Савва в дневнике), обращается к нему с просьбой принести почитать речи. И другая запись: «Братья привезли какие-то речи...»

Что же касается личных интересов Саввы Мамонтова, то здесь первое место несомненно занимает театр.

«Вчера был в театре, — записывает он 8 января. — „Траваторе и Пахита“».

«13 января... Иду в театр в бенефис Щепкина. Идет: „Жаккардов станок“, „И рад бы поверить“, „Прежде маменька“ и „Дивертисмент“. Спектакль был не особенно хорош, меня удивляет, неужели Щепкин не умеет выбрать себе пьесу для бенефиса; достойно всеми уважения то, что он больше обращает внимания на политические обстоятельства времени и больше соображается с духом его, но, должно быть, его недостаточно понимают, но принимают его пьесы очень хладнокровно, даже одну совсем ошибали, именно: „Прежде маменька“. В „Жаккарде“ он проповедует, что надо давать больше хода низшему сословию, что в нем кроется много талантов, которые убивает совсем напыщенность, ученость, не